

Рыжая Калуша исчезла со двора, а Лена и не заметила. Может быть, это случилось ночью, когда хозяева спускают своих собак с цепи размять лапы, а может, рано утром, когда направление в тумане угадывается только по звуку коровьего ботала. Умчалась ли бестолковая Калуша за симпатичным кобельком или решила податься в пастушьи собаки, было неизвестно, но так или иначе этот несносный комок вычесанной, чисто вымытой шерсти надо было спасать. Без людей в окрестных полях и лесах горожанка Калуша не выживет. Да и как жить без Калуши?

Словом, если бы не собака, Лена за околицу бы и не вышла. И когда выходить? Уезжая на неделю в отпуск в родные Боровки, она тесно распланировала дела: убрать огород, накрутить оставшиеся соленья-варенья, заклеить рамы — да мало ли занятий в деревне на исходе сентября?

Вот и крутилась-вертелась по двору да в кухне, за ограду носа не казала, даже с соседями, приехав, почти не перемолвилась. Так и прошляпила собаку, а городскому псу от лесных манких запахов долго ли голову потерять?

Утро вьседило былье у заборов: стояли серебряными пиками отцветшие в лето дикая редька, чертополох и прочий травяной народец. Казалось, холод поднимался из глубины земли, будто зима дожидалась своего времени не

где-то в сказочных ледяных чертогах, а вот там, внизу, под густым слоем грязи и мокрой листвы, а теперь выползала потихоньку, охватывая нижние бревна домов хрусткой корочкой инея. Лена зябко поёжилась и с сомнением глянула на ноги: сапоги, что ли, надеть? Да далеко она не уйдёт, околица-то вон виднеется... Можно и в калошах сходить, что так по ноге пришлись в домашней да огородной беготне — новые, на малиновой подкладке. Резиново поскрипывая, Лена двинулась на поиски, то и дело посвистывая и окликаая беглянку по имени.

Калуша не откликнулась. Лена нерешительно потопталась у дома Савельича — крайнего по улице, через поле уже и лес виден. Из-за ограды послышалось тёплое меканье и копытный перестук. В заборную дырку просунулся козлиный нос, с нитяным треском потянул жухлую траву с улицы — она там всегда вкуснее. “Прогуляюсь... недалеко же”, — подумала Лена и зашагала через поле.

Голая, измотанная битвой за урожай земля, словно роженица с развороченным акушерами нутром, ждала снежного забвения. Лена быстро пожалела о своей опрометчивой прогулке к лесу: скакать по застывшим земляным буграм в спадающих калошах — дело непростое. Вот ведь, жизнь прожить — не поле перейти, да и поле перейти — умаешься. С облегчением доскакала до первых осин — как из бурного течения выбралась на ровный да гладкий берег.

“Калуша...” — позвала нерешительно. Странно показалось кричать в этой тишине. Посёлок с его утренней суетливой разноголосицей отступил перед простотой и ясностью осеннего леса. Деревья стояли застывшие, с напряжённо выпрямленными спинами и вскинутыми к небу руками, словно прислушиваясь к приближению того, что вот-вот должно произойти — большое, жутковатое в своей неизбежности, значительное, с именем коротким и веским: Зима.

Что-то рыжее мелькнуло за деревьями, замельтешило промеж стволов у самой земли. “Калуша! Вот негодница!” — ахнула Лена и бросилась за ней.

Неверный рыжий отблеск то вспыхивал, то гас среди кустов, сливаясь с желтизной листвы. Стараясь не терять его из виду, Лена расталкивала стволы, поднимала руки, будто вброд переходя еловый молодняк, поскользнулась на лиственной подстилке, едва удерживая неуместную, норовящую сбегать обувку. От бега сердце бухало где-то у горла, лицо заливало жаром до кончиков ушей, лоб же, напротив, почему-то ломило от холода, и студёным воздухом остро обжигало лёгкие. Наконец, закололо в подреберье, и Лена, тяжело дыша, остановилась. “Калуша!” — крикнула она ещё раз. Тишина в ответ, словно и не было собаки. Да может, и правда не было, померещилось? За кем гналась?

Взмокшая спина быстро остывала, под куртку забирался холодок. Перед глазами перестали прыгать красные пятна, и Лена оглянулась: куда её занесло? Лес как лес. В детстве она, казалось, весь его исходила, и до сих пор, думалось ей, завяжи глаза — выйдет, да ещё и грибов по дороге наберёт. Прикинув, куда её могла завести погоня, Лена прислонилась к старой осине — надо передохнуть да домой отправляться. Может, бестолковая Калуша уже там?

Прикрыла глаза. После напряжённого бега покой медленно входил в неё, кружа пространство за закрытыми веками. Вдохнула глубоко, до мурашек в затылке. Странно, все эти запахи — древесная труха, преющие листья, оседающие от долгих дождей грибы — ведь все это распад, тление, умирание. Почему же так легко дышится?

Лес погружал её в непривычное задумчивое состояние. Обеспокоенно встряхнувшись, Лена пустилась напрямки, отгоняя нахлынувшую вдруг досаду. Она приучила себя не размышлять особо о жизни, как да что устроено. Живёшь — и живи себе, нечего задумываться, от этого только меланхолия да язва образуются. Она привычно заворачивала себя в дела, закутывала, прятала, жила минутой, рутинной и суетой. Не останавливаться, главное — не останавливаться, чтобы, не дай Бог, не впасть в пустые размышления, вроде

“вот, могло бы сложиться, а не сложилось...” Но здесь, в прозрачном осеннем лесу, тишина вдрут поймала Лену в силки — не выпутаешься.

Жизнь у неё не задалась, как не задаётся тесто, — не поднимается, но и вылить жалко. Видимо, тот, кто замешивает человека, был тогда крепко не в настроении, творил без огонька. Вроде всё как у людей, как положено: муж, работа, детей нет, но какие её годы, и в сорок рожают... А всё мимо, без радости. Жизнь проходит, как пейзаж за грязноватым стеклом вагона: за окном какой-нибудь длинный нескончаемый лес, и сумерки всё плотнее, смотреть скучно, в купе душно, тягостно, а до нужной станции ехать и ехать — не выйдешь же в чистом поле, где ни родных, ни знакомых? Да и какая станция — нужная? Билет потерялся...

Чего ей надо, чего неймётся? Лена сердилась на себя — вот, опять взялась перебирать! Лесная ясность разбередила что-то глубинное, тщательно скрываемое от самой себя. Такая ясность была в юности: она только что поступила на архитектурный, переехала в город и была уверена, что впереди — ширь неохватная, и чисто, и ярко, и правильно всё в жизни сложится. А теперь сидит в маленькой строительной конторке, умножает одну колонку цифр на другую — изо дня в день. Когда заплутала? И как выбраться?

В городе ей всё время хотелось спать. Нет, не как хотят уснуть глубоко уставшие люди, а просто уйти в сон, спрятаться. Там, в спасительной дремотной темноте не приходят тоскливые мысли, там мягко, уютно. Она бродила в тепле своих неясных, не запоминающихся снов и каждый раз совсем неожиданно натыкалась на холодное утро, которое вставало перед ней серой бетонной стеной, и она обречённо брела вдоль неё, чтобы войти в такой же серый день. Разве нормально в её-то возрасте, чтобы всё время хотелось спать?

Но кому какое дело до чьей-то неясной маеты? Муж не спрашивал, да и она виду не подавала, что всё не в радость. Только Лёха-Чума — водитель, с которым она ездила одно время в командировки, — это однажды приметил. Был он рыжий, лихой, гонял по городу и вне так, будто сам чёрт ему не брат, ибо он превзошёл нечистого в лихости и утверждал, что ему некогда соблюдать правила дорожного движения. Видимо, за многочасовые молчаливые поездки по трассе отрастил он себе какие-то антеннки, которыми улавливал состояние-настроение пассажира. Расспрашивать не стал, просто однажды на каком-то глухом отрезке трассы затормозил резко и приказал: “Выходи”. Она удивилась: “Очумел, Лёха? Ехать ещё часа два”. Но вышла. Была весна — не цветущая, распрекрасная, победительно шествующая по земле, а ползучая, больная, грязная, словно исподтишка задумавшая навредить зиме. Лена зябко ёжилась на обочине, но подошёл Леха, развернул её лицом в сторону обрыва, голосом, не терпящим возражения, скомандовал: “Смотри! Дыши! Глубже!” Она вдохнула так, что голова поплыла. “А теперь — кричи!” “Зачем?” — спросила и осеклась. И так ведь понятно — чтобы выбросить из себя этот ком в груди, выблевать его в крике. Чтоб легче стало, чтоб жилось-не гнилось. “Аааа...” — несмело крикнула, словно пытаясь подстроиться под какую-то мелодию. Прислушалась — фальшиво получилось. “Не так, дура! От нутра!” И заорал, распяливая широко рот — аж сороки с ёлок сорвались. “Поняла? Вот, давай вместе на счёт “три”. И заорали, и с каждым разом получалось всё лучше. И легче стало тогда, она даже из командировки вернулась будто отдохнувшей. И потом во всех поездках Лёху спрашивала: “Поорём?”

А теперь и не с кем. Чёрту, которому Лёха-Чума был не брат, видимо, надоело насмешливое превосходство шоферюги, и нечистый заграбастал его к себе: просто завертел однажды машину на гололедице, да и выбросил с трассы. Ей казалось, что Лёха с тех мест и не ушёл: бродит его дух вдоль дорог, смущает редких остановившихся водителей, может, и помогает кому выплеснуть боль-печаль в крике. Леха-Леший.

С тех пор она запретила себе задумываться. Живёт по правилу: “Моешь чашку — думай о чашке”. Так-то.

Пишка внезапно тюкнула её по затылку, отскочила, спряталась в траве. Сбила ход мыслей, вывела из тоскливой какой-то дремотности. Лена с удивлением заозиралась: вот ведь, шла, будто ноги сами несли...

Где это она? Место показалось ей совсем незнакомым — темно от хвойников, и лес старый, дряхлый даже. И тишина здесь была иной, не ясной, почти звенящей, как на кромке леса, а словно в затхлой, заставленной мебельной рухлядью комнате. Всякий звук, казалось, тонул в лишайниках, кутавших ветки, как чехлы дачную люстру. Брошенное место, оставленное.

Тропы под ногами не было. Встревожившись, Лена осмотрелась и, приметив неясный от перечёркивающих веток просвет, двинулась в его сторону. Но он оказался лишь маленькой опушкой, прогалом между столпившихся, словно для тайного совещания, елей. Куда теперь? Лена, внутренне усмехаясь (Чего встревожилась? Рано!), постаралась вспомнить разрозненные сведения, как вести себя заблудившимся. Памятная из школьных учебников примета — мох с севера — тут не работала: он облеплял деревья со всех сторон, и плевать ему было, где север, где юг... Что там ещё? Вызвать МЧС и оставаться на месте... Она оцупала карманы большой, не по размеру куртки — телефон остался дома. Что-то звякнуло под пальцами, и она выудила из недр отсыревшей ткани маленькую фляжку. Удивилась: с лета лежит, брала капелюшку с собой по грибы на случай дезинфекции, да позабыла... В жестянке слабо булькнуло, но звук вдруг показался неожиданно громким. В голову начинала лезть всякая чертовщина, байки деревенских, как “дядьку Семёна леший водил-водил, да бросил”. Может, правда, он и завёл, заманил, прикинулся рыжей псиной меж деревьев? А она, дурочка, погналась. Поёжившись от тревоги, Лена отвернула крышку, коротко хлебнула. Вспомнила вдруг деда Терёша, как он крестил самогон поверх кружки и приговаривал: “Сгинь, нечиста сила, останься гольный шпирт!” — и вкусно выпивал, подставляя ладонь ковшиком, чтоб ни капли мимо. “Сгинь, нечистая сила...” — повторила она шёпотом. Лес молчал.

Она снова вспомнила, как ещё у поля её удивила тишина. Но там она была наполненная, не пустая: едва слышно сходил с ветвей жухлый лист, где-то в отдалении стучал деловито дятел, мягко капало с деревьев. А тут — ничего.

И тёмным унылым духом в неё вполз страх.

Теперь вся она была — слух. Но нечего было слышать. Лес, будто на паузу поставленный: ни шороха, ни ветерка. Казалось, смотрит на неё кто со стороны, сверлит недобрым взглядом, следит каждое её движение. Готовится. К чему? Она заглядывалась перепуганно. Никого.

“Хэээ...ааа”, — скрипучий протяжный стон. Станный, не горлом человеческого выдохнутый. Но живой. Жуткий. Дерево какое старое скрипит? Так ведь ветра нет.

“Туп...” — пауза. И опять: “Туп...” Мягкий, на грани слышимости звук, будто тяжёлый кто ступает по мхам... А копыта жёсткие до камней, под мхами спрятанными, достают... “Туп...” — ближе.

Вдруг сорвалась птица — и Лена птицей порхнула с места, кинулась, сломя голову, дороги не разбирая! Всё рациональное, дневное в ней вдруг умерло, как не бывало, осталось дикое, ночное и страшное, всё, что живёт в этом жутком месте, да ещё прячется у человека где-то возле сердца. Нет страха глубже таёжного, ему и смелые подвластны. Встаёт за спиной что-то древнее, тёмное, и нет сил ему сопротивляться — только бежать! А лес не пускал: хлестал наотмашь мокрыми розгами, вцеплялся колко в волосы, оплетал колени травой. Но неслась — не оглядывалась, да и страшно оглянуться! Хрустел валежник то ли под ногами, то ли где-то сзади — близко, совсем близко! Сквозь ельник, сквозь мокрые веснушчатые папоротники, через какие-то выворотни, без мысли — вся страх, вся слух! — бежала в панике неведомо куда.

Вдруг нога соскользнула и Лена, вскрикнув, кубарем покатилась в овражину, отчаянно цепляясь за траву и кусты. Наконец, замерла — глаза закрыты, лицом к земле, — в ужасе ожидая, что вот-вот он настигнет, кинется... придавит. Леший навис над ней, тяжело ворочая ветками, влажно дыша в затылок. “Он рядом... — поняла Лена. — Замри!” Ходит вокруг, и опять скрип этот жуткий: “Хэээ... аа”.

Чего он ждёт? Запалённое дыхание успокаивалось, кровь перестала стучать в ушах. И лесий, казалось, поутих. Притаился? Лена, трепеща, поднялась на локтях, охнула — руки саднило от царяпин. Огляделась боязливо, щурясь от неожиданного света: тёмный ельник остался позади, а навстречу ей холодно сияло маленькое озерцо и ярко-жёлтые на фоне серых воды и неба стояли берёзы.

Лена с трудом поднялась. Лесий, казалось, замер на краю поляны, будто не допущенный в круг золотого березового сияния. Там, в тени, в буреломе, где на ещё не пожухшей, длинной и блестящей, как вымытые волосы, траве фарфорово белеют поганки, — там его власть. А здесь... будто другое царство.

Она подошла к озерку: совсем маленькое, не озеро — лужица метров десяти в длину. Вода прозрачная, у берега покрытая сеткой побуревших листьев. Лена отвела их, — порскнула в сторону сонная водомерка, — зачерпнула воды, умылась. Усталость навалилась на плечи, сил не осталось даже на страх. Она закрыла глаза и будто пропала. Время остановилось.

Над головой захлопал кто-то крыльями, задел ветки, и на Лену дождём обрушилась дождевая влага. Она векинулась, будто очнувшись, — сколько же так просидела? А он где? Все ещё караулит её? Вокруг было по-прежнему тихо.

Лене вдруг показалось, что тишина эта неспроста, что она — часть неведомого, большого, задуманного кем-то действия. Будто Лена — на маленькой светлой сцене, как в парках отдыха бывают, и лес-зритель чего-то ждёт от неё. Стояли, напряжённо замерев, берёзы, готовые всплеснуть ветками и захлопать, или же, наоборот, зашелестеть негодующе. А она, растерянная, в золоте осенних софитов — и нема, как рыба. Нет у неё таких слов, что ни скажи здесь — всё не к месту будет. Деревья дышали в ином ритме, и человек со своими перепуганными скачущими мыслями в него не попал. “Я — не с ними. Лес — вековой, он всегда будет, а человек уйдёт”, — она впервые почувствовала эту отъединённость. Человек преходящ, а деревья, озеро, небо постоянны, неизменны, как понятия о добре и зле. И почему-то от мысли, что есть в неуютном мире что-то незыблемое, будто обтекаемое временем, ей вдруг стало спокойно, ровно на душе. Ведь по этому же лесу и бабка её ходила, и прабабка, и многие другие пра-, которых она и не знала вовсе. А значит, если вдуматься, деревья ей здесь, как односельчане, — поздоровайся да спроси: “Помнишь бабку Устину?” — закивают обрадованно. Это человечья память короткая, а они-то не забывают. Выходит, и заблудиться невозможно, кругом знакомые. Лена улыбнулась — хорошо. Может, и по жизни так же, да мы не замечаем? Блуждаем, теряемся в трёх соснах...

И вдруг, внезапно совсем, пришли слова. Не её, чужие, Лена даже не вспомнила, чьи — что-то из школьных времён. Но показались они такими здешними... Может быть, этого от неё и ждут?

*...весь день стоит как бы хрустальный...*

Строка повисла, выдернутая из памяти, и Лена удивилась её прозрачности — будто акварелью по мокрому листу написано. Напряглась, вспоминая, и силовато от долгого молчания медленно-медленно вымолвила в лесную глубину:

*Есть в осени... первоначальной...*

*Короткая, но дивная пора —*

*Весь день стоит... как бы хрустальный...*

*И лучезарны... вечера...*

“Лу-че-зар-ны...” — повторила она поражённо. От неожиданных слёз перехватило горло.

И пошёл снег — первый. И не было его тише. Сходила белая небесная тишина на землю, оседая на траве, расслабляя спины деревьев, путаясь в во-

лосах. Снежное молчание вошло в неё, и стало совсем покойно, легко. “Снег во мне, — подумала Лена. — Во мне. Идёт. Снег”.

И слабой тенью, заворожённо притихший, стоял неразличимый за сеткой ветвей огромный неведомый кто-то. Уже не страшный.

Лесные тропы будто сами стелились под ноги. А вот и знакомое поле, и краешек леса, и дымком потянуло — жильём, домом, теплом! И околицу уже видно, плутать не пришлось. Оглянулась на лес — словно чей взгляд почувствовала. “А может, правда, Лёха — леший? Может, он меня и гонял, чтоб о жизни что-то поняла-вспомнила? И скрипел так... поговорить хотел?”

Она выступила из тени деревьев и даже зажмурилась — так светло на белом свете! Деревня встречала её принаряженная, в блёстких кокошниках побелевших от снега крыш. “Надо же... уходила — в золото, возвращаюсь — в серебро. Заживём!”

“Заживём!” — вдруг сама себе крикнула, как тогда, с Лёхой. И рассмеялась. Смех тут же отозвался, да не эхом — лаем. Это счастливая Калуша, повизгивая, трусила навстречу по опушке, а в отдалении стоял и улыбался ласково чёрный кобелёк. Лена вдохнула глубоко, вбирая в себя весь этот день: и серебро, и золото, и бег, и страх, и те стихи... Бережно несла она из леса лучезарную осеннюю ясность — не расплескать бы! И отчего-то казалось — ширь впереди необъятная, и всё теперь будет хорошо, светло и радостно.